

ВАДИМ ШЕРШЕНЕВИЧ

Имя Вадима Габриэлевича Шершеневича /1893-1942/ непосредственно связано с узловыми моментами русской поэзии - 1910-20-х годов. Сын крупного московского адвоката, он рано начинает писать стихи и уже в 1911 г. готовит книгу "Весенние проталинки" (в продажу не поступила). Первая книга лирики "Кармина" /1912/ отмечена определенным влиянием символизма /в частности, А.Блока/. Стихотворения последующих сборников "Романтическая пудра" и "Экстравагантные флаконы" /1913/ несомненно являются собой подражание манере И.Северянина. Первой действительно самостоятельной книгой стихов Шершеневича можно считать сборник "Автомобилья поступь" /1915/, выходом которого отмечен переход поэта в футуристический лагерь. Отметим, что в произведениях этого периода /особ., в драме "Быстрь" /1916//, Шершеневич придерживается программы итальянских футуристов /поэт переводит на русский язык основные теоретические работы Ф.Т.Маринетти/.

Наибольшую известность принесло Шершеневичу создание /совместно с С.Есениным и А.Мариенгофом/ группы имажинистов, выступления которой пользуются в начале 20-х годов значительным успехом. В 1920 году выходит - "центральная" книга Шершеневича "Лошадь как лошадь". Есть свидетельства, что В.Маяковский, "эстрадность" поэзии которого близка Шершеневичу, с ревностью относился к славе последнего и даже безосновательно обвинял его в plagiatе. После фактического распада группы имажинистов в 1925 г., Шершеневич выпустил /за свой счет/ лишь один небольшой сборник "Итак. Итог" /1926/. С конца 1920-х гг. его стихи перестают появ-

ляться в печати; поэт зарабатывает на жизнь преимущественно литературной поденщиной /статьи о советском кинематографе и т.п./. К сожалению, нам недоступны поздние стихи Шершеневича, также как и нередко цитируемые литературоведами, но оставшиеся в рукописи мемуары "Великолепный очевидец". В 1942 г. Шершеневич эвакуировался в Среднюю Азию, где скончался от брюшного тифа. Пока нет никаких надежд на републикацию в СССР стихов Шершеневича, последняя книга которого вышла ровно шестьдесят лет назад. Его принято вспоминать чуть ли не в качестве прототипа есенинского "Черного человека". Между тем, интерес к наследию поэта усилился; в 1983 г. в американском издательстве "Ардис" вышла монография о его творчестве /

/. Представляют значительный интерес работы Шершеневича в области теории литературы: "Зеленая улица" /1916/, "2x2=5" /1924/ и др. См. о нем также: Вл. Марков., Русский футуризм . 1969.

Л.Д.

Льву Заку.

За фужером горящего, разноцветного пунша
В кафе заполненном, под брызги "Масселони",
С нервным пробором, без профиля юноша
Дико, иступленно и сумасшедшее стонет.
Из застекленной двери, не мешкая,
Торопливо поправляя прическу крутую,
Выходит расхлябанная, развинченная девушка,
И плач юноши привычно целует.
И вдруг у юноши из ногтей вырастают когти,
Сквозь пробор пробиваются, как грибы сквозь листья,
Два рога козлиных, и в ресторанном рокоте
Юноша в грудь ударяет девушке плечистой.
Мертвая, конечно, надает... Какие-то лица
Сбегаются на шум и, сквозь сигаретный угар,
Жестикулируя, юноша объясняет полиции,
Что у нее апоплексический удар.

/1914/

Грустным вечером за городом распыленном,
Когда часы и минуты утратили ритм,
В летнем садике, под разбухшим кленом,
Я скучал над грёзами недопитым.
Подъезжали коляски, загорались плакаты
Под газовым фонарем и лакеи
Были обрадованы и суётись как-то,
А бензин наполнял парковые аллеи...
Лихорадочно всыхивали илюминации мелодий
Цыганских песен и подмигивал смычок,
А я истерично плакал о том, что в ротонде
Из облаков, луна потеряла пустячок.
Ночь прибежала, и все стали добрыми,
Пахло вокруг электризованной весной,
И, так как звезды были все разобраны,
Я из сада ушел под ручку с луной.

/1914/

Вы вчера мне вдели луну в петлицу,
Оборвав предварительно пару увядших лучей,
И несколько лунных ресниц у
Меня захлестели на плече.
Мысли спрыгнули с мозговых блокнотов.
Кокетничая со страстью, плыву к
Радости, и душа, прорвавшись на верхних нотах
Плеснула в завтра серный звук.
Время прогромкало искренно и хрюпло.
Ел басовые аккорды. Крича с
Отчаяньем, чувственность к сердцу прилипла,
И, точно пробка, из вечности выпрыгнул час.
Восторг мернобулькающий жадно выпит.
Кутая сердце в меховое пальто.
Как-то пристально бросились Вы под
Пневматические груди авто.

/1914/

Владиславу Ходасевичу

Вечер был ужасно туберозов,
Вечность из портфеля потеряла могсейи,
И растерянно, как настоящий философ,
Подводила стрелкой физиономию часов.
Устал от электрических ванн витрин,
От городского граммофонного тембра.
Полосы шампанской радости и смуглый сплин
Чередуются, как кожа зебр.
Мысли невзрачные, как оставшиеся на лето
В столице женщины, в обтрепанных шляпах.
От земли, затянутой в корсет мостовой и асфальта,
Вскидывается потный, изнурительный запах.
У вокзала бегают паровозы, откидывая
Взвешенные волосы со лба назад.

Утомленный вечерней интимностью хитрою,
На пляже настежь отворяю глаза.
Копаюсь в памяти, как в песке после отлива,
А в ушах дыбится городской храп;
Воспоминанье хватает за палец ревниво,
Как выкопанный нечаянно краб.

/1914/.

После незабудочных разговоров с угаром Икара,
Обрывая "Любит-не любит" у моей лихорадочной судьбы,
Вынимаю из сердца кусочки счастья, как папиросы из
портсигара,
И беззлаберно их раздаю толстым вскрикам толпы.
Душа только пепельница, полная окурков пепельница!
Так не суйте же туда еще, и снова, и онять!
Пойду перелистывать и раздевать улицу-бездельницу
И переклички перекрестков с хохотом целовать,
Мучить увядшую тучу, упавшую в лужу,
Снимать железные панамы с истеричных домов,
Готовить из плакатов вермишель на ужин
Для моих проголодавшихся и оборванных зрачков,
Составлять каталоги секунд, годов и столетий,
А, напившись трезвым, перебрасывать день через ночь,
Только не смейте знакомить меня со смертью:
Она убила мою беззубую дочь.

/1914/

С севера прыгнул ветер изогнувшейся кошкой
И пощекотал комнату усами сквозняка...
Штопором памяти откупоривая понемножку
Запыленные временем дни и века.
Радостно, что блещет на торцовом жилете
Цепочка трамвайного рельса, прободавшего мрак!

Радостно знать, что не слышат дети,
Как по шоссе времени дни рассыпают свой шаг!
Пусть далеко, по жилам рек, углубив их,
Грузы, как пища, проходят в желудок столиц;
Пусть поезд, как пестрая гусеница, делая вывих,
Объедает листья суеверий и небылиц.
Знаю: мозг — морг ипомнит
Что скжег он надежды, которые мог я сложить ...
Сегодня сумрак так ласково огромнит
Острое значение хрупкого жить.
Жизнь! Милая! Старушка! Владетельница покосов,
Где коса смерти мелькает ночи и дни!
Жизнь! Ты всюду расставила знаки вопросов,
На которых вешаются друзья мои.
Это ты изрыла на лице моем морщины,
Как следы могил, где юность склонена!
Это тобой из седин мужчины
Ткань савана сплетена!
Но не страшны твои траурные монограммы,
Смерть не может косою проволоку оборвать —
Знаю, что я важная телеграмма,
Которую мир должен грядущему передать!

/1914/

КВАРТЕТ ТЕМ.

От 1893 до 1919 пропитано грустным эрелицем:
В этой жизни тревожной, как любовь в девичьей,
Где лампа одета лохмотьями копоти и дыма,
Где в окошке кокарда лунного огня,
Многие научились о Вадиме Шершеневиче,
Некоторые ладонь о ладонь с Вадимом Габриэлевичем,
Несколько знают походку губ Дими,
Но никто не знает меня.

Краску слов из тюбика губ не выдавить
Даже сильным рукам тоски.
Из чулана одиночества не выйду ведь
Без одежд гробовой доски.

Не называл Македонским себя или Кесарем.
Но частехонько в спальной тиши
Я с повадкою лучшего слесаря
Отпирал самый трудный замок души.

И снимая костюм мой ряшливый,
Сыт от маны с небесных лотков,
О своей судьбе я выспрашивал
У кукушки трамвайных звонков.

Вадим Шершеневич пред толцою бэзликою
Выжимает, как атлет, стопудовую гирю моей головы,
А я тихонько, как часики, тикаю
В жилетном кармане Москвы.

Вадим Габриэлевич вагоновожатый веселый
Между всеми вагонный стык.
А я люблю в одинокой постели
Словно страус в подушек кусты.

Губы Димки половьями быстрых санок
По белому телу любовниц в весну,
А губы мои ствол нагана
Словно стальную соску сосут.

/сент. 1919/

ПРИНЦИП БАСНИ.

А Кусикову.

Закат запыхался. Загнанная лиса.
Луна выплывала воблою вяленой.
А у подъезда стоял рысак:
Лошадь как лошадь. Две белых подпалины.

И ноги уткнуты в стаканы копыт.
Губкою впитывает воздух ухо.
Вдруг стали глаза по-человечьи глупы
И на землю заплюхало глухо.

И чу! Воробьев канитель и полет
Чириканьем в воздухе машется,
И клювами роют теплый помет,
Чтоб зернышки выбрать из кашицы.

И старый угрюмо учили молодежь:
— Эх! Пешла нынче пища не та еще!
А рысак равнодушно глядел на галдеж,
Над кругляшками вырастающий.

Эй, люди! Двуногие воробыи,
Что несутся с чириканьем, с плачами,
Чтоб порыться в моих строках о любви,
Как глядеть мне на вас по-иначему?!

Я стою у подъезда придуших веков,
Седока жду отчаяньем нищего,
И трубою свой хвост задираю легко,
Чтоб покорно слетались на пищу вы!

/весна 1919/.

СЕРДЦЕ ЧАСТУШКА МОЛИТВ.

Я Блюмкину.

Другим надо славы, серебряных ложечек,
Другим стоит много слез, —
А мне бы только любви немножечко,
Да десятка два папирос.

А мне бы только любви вот столечко,
Без истерик, без клятв, без тревог,
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы до ног.

И, право, не надо злополучных бессмертий,
Блестяще разрешаю мировой вопрос, —
Если верю во что — в шерстяные материи,
Если знаю — не больше, чем знал и Христос.

И вот за душою почти несуразною
Ширококолейно и как-то в упор,
Май идет краснощекий, превесело празднуя
Воробьиною сплётней распёртый простор.

Коль о чём я молюсь, так чтоб скромно мне в дым уйти,
Не оставить сирот - ни стихов, ни детей;
А умру - мое тело плечистое вымойте
В сладкой воде фельетонных статей.

Мое имя, попробуйте, в библию всуньте-ка -
Жил, мол, эдакий комик святой.
И всю жизнь проискал он любви бы полфунтика,
Называя любовью покой.

И смешной, кто у Данта влюблённость наследовал,
Весь грустящий от пят до ушей,
У весёлых девчонок по ночам исповедовал
Свое тело за восемь рублей.

На висках у него вместо жилок - по лимонам,
Когда плакал - платок был в крови,
Был последним уже вымиравшей фамилии
Агасферов единой любви.

Но пока я не умрё, простудясь у окошечка,
Все смотря: не пойдет ли по Арбату Христос,
Мне бы только любви немножечко,
Да десятка два папирос.

/октябрь, 1918/.

КОМПОЗИЦИОННОЕ СОПОДЧИНЕНИЕ.

Чтоб не слышать волчьего воя возвещающих труб,
Утомившись седеть в этих дебрях бесконечного мига,
Разбивая рассудком крупкие грэзы скорлуп,
Сколько раз в бессмертную смерть я прыгал!

Но крепкие руки моих добрых стихов
За фалды жизни меня хватали... И что же?
И вновь на голгофу мучительных слов
Уводили меня под смешки молодежи.

И опять, как Христа измотавшийся взгляд,
Мое сердце пытливое жаждет, икая.
И у тачки событий, и рифмой звенят
Капли крови, на камни из сердца стекая.

Дорогая!

Я не истин напевов хочу! не стихов,
Прозвучавших в веках слаще славы и лести!
Только жизни! Беспечий! Густых зрачков!
Да любви! И ее сумасшествий!

Веселиться, скучать и грустить, как кругом
Миллионы счастливых, набелсветных и многих!
Удивляться всему, как мальчишка, впервый увидавший
тайком

До колен приоткрытые женские ноги!

И ребячески верить в расплату за сладкие язвы грехов,
И не слышать пророчества в грохоте рвущейся крыши,
И от-чистого сердца на зов
Чьих-то чужих стихов
Закричать, словно Бульба: "Остап мой! Я слышу!"

/январь, 1918/.

КООПЕРАТИВ ВЕСЕЛЬЯ

Н.ЭРДМАНУ.

Душа разливается в поволжское устье.
Н, пробуй - переплыви!
А здесь работает фабрика грусти
В каждой строке о любви;

А здесь тихой вонью издохшей мыши
Кадят еще и еще . . .
И даже крутые бедра мачиша.
Иссохли как черт знает что;

А здесь и весна сиротливой оборванью
Слюнявит водостоки труб,
И женщины мают машинной ворванью
Перед поцелуем клапаны губ;

И чтобы в этой скучице мелочной
Оправдаться - они говорят,
Что какой-то "небесный стрелочник"
Всегда и во всем виноват.

Давайте докажем, что родились мы в сорочке
Мы - поэты, хранители золотого безделья,
Давайте устроимте в каждой строчке
Кооперативы веселья.

В этой жизни, что тащится, как Сахарой верблюдище,
Сквозь какой-то непочатый день
Мы даже зная об осени будущей
Прыгнем сердцем прямо в сирень!

Прыгнем, теряя из глотки улыбки,
Крича громовое НА!
Как прыгает по коричневой скрипке
Вдруг лопнувшая струна.

/январь, 1919/

СЛАВА ПОРАЖЕНЬЯ

Свободе мы несем дары и благовонья,
Победой кормим мы грядущую молву,
И мало нам валов огромных бушеванье.
Победе песни, но для пораженья
Презрительно мы скучны на слова.

Татарский хан,
Русь некогда схватил в охапку,
Гарцуя гривой знамен, -
Но через век засосан был он тонкой
Российской покорностью долин.

А ставленник судьбы, Наполеон,
Союзом войн вспахавший время оно, -
Ведь заморозили посев кремлевские буруны,
Из всех посейных семян
Одно взошло: гранит святой Елены.

Валам судьба рассыпаться в дрожанье,
С одышкой добежать к пустынным берегам
И гибнуть с пеной глаз дано другим.
Победы нет! И горечь пораженья
Победой лицемерно мы зовем.

/15 июля 1923/.

Бесцельно целый день жевать
Ногами плитку тротуара,
Блоху улыбки уловить
Во встречном взоре кавалера.

Следить мне как ноябрь-наук
В ветвях плетет тенета снега
И знать, что полночь в кабак
Дневная тыкнется дорога.

Под крышным черепом ой-ой! -
Тоска бредет во всех квартирах.
И знать, что у виска скорей,
Чем через год, запахнет порох.

И так: итог: ходячий труп
Со стихотворной вязанкой!
Что ж смотришь, солнечный циклон,
Небесная голубозвонка?!

О солнце! Кегельбанный шар!
Владыка твой, нацелься в злобе
И кегли дней моих в упор
Вращающимся солнцем выбей!

Но он не хочет выбивать,
О понял я, как все усталый:
Не то что жить, а умереть
И то так скучно и постыдо.

/1925/.